



Анатолий Кирилин

Родился в 1947 году в Барнауле. Автор двенадцати книг прозы и публицистики, изданных в Сибири и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

ПУТНИК ЗАПОЗДАЛЫЙ

Повесть

Продолжение. Начало в № 4, 2022

15.

Любимое время дня. Час пик с его суетой и грохотом транспорта прошел, тишины еще не было, но тоны городских шумов снизились. Солнце опустилось за дома, небо обрело нежный зеленоватый оттенок, на нем чертили свою стремительную геометрию стрижи. Он долго смотрел ввысь, оставляя за пределами видимости каменные коробки.

— Всю жизнь мечтал о крохотном домике возле леса, а умирать придется в городской квартире, — выдохнул он в окно. — Такая малость, а не удалась!

Резко оттолкнулся от подоконника, шагнул вглубь комнаты. Какое-то непонятное беспокойство овладело им вдруг. Ему

показалось, будто потолок падает на него, а стены стремительно сжимаются, подталкивают к окну: прыгай! Он огляделся, отмечая по отдельности предметы своего нетленного быта. Наткнулся взглядом на ключи зажигания, висящие на гвоздике у дверей. Туфли, трость, сумочка с документами — и вот он выводит своего жигуленка со двора, и вот он на центральном проспекте города в поредевшем к вечеру потоке машин. Сначала в сторону речного вокзала, где проспект берет свое начало, потом вдоль резных фасадов старого города, новый центр, старый и вот уже промзона, где заброшенные заводские корпуса сиротливо тянут к небу остывшие трубы. Здесь запустение, отсюда ушла жизнь. На обратном пути его встречают засветившиеся фонари, город в их свете приобретает совсем другой вид, местами даже праздничный. Сколько уж раз Листов изгонял из себя хандру, садясь за руль! Не всегда получалось вырваться в дальнюю поездку, как случилось с ним недавно, однако порой хватало и вот такой короткой автомобильной прогулки по городу. То было раньше. Сейчас он напряжен, сосредоточен, все внимание его приковано к двум педалям — тормоз и газ. Ноги плохо слушаются, правая то и дело норовит нажать не на ту педаль. Как бы там ни было, пусть и не в час пик городская езда за рулем требует особой сосредоточенности. Но это и есть один из способов отвлечься. Да, без романтики.

Припарковав машину, он поднял голову, убедился, что стрижи все еще вычерчивают свои тайные знаки на затухающем в последних отсветах дня небе. «В самый раз бы устроить себе праздник», — думал, поднимаясь на свой этаж. Первым делом открыл холодильник и обнаружил там несколько голов минтая, рыбы совсем не праздничной. Шалишь, брат, решил он не сдаваться и достал с антресолей давно не использованный глиняный горшочек. Выложил дно его и стенки крупными кольцами лука, поверх уложил куски рыбы, посолил, поперчил, влил ложку подсолнечного масла и включил духовку. Ровно столько времени, которое необходимо для запекания рыбы, достаточно, чтобы охладить в морозилке сухое белое вино. Когда время вышло, он перетащил вино и ужин в комнату к телевизору, расположил снедь и приборы на старом стуле. Сразу по нескольким каналам

передавали новости. В мире нарастает эпидемия какой-то новой болячки: грипп не грипп, вроде похоже, но последствия тяжелее. Люди умирают, молодые, старые — жизнь обесценивается. Один из парадоксов бытия: жизни уходят одна за другой, казалось бы, ценность ее, жизни, должна возрастать. Увы, законы рынка здесь не действуют, а если и действуют, то наоборот. Жизнь обесценивает привычка к смерти. Если теоретики и апологеты теории золотого миллиарда тут ни при чем, то им кто-то здорово потрафил. Однако народу на Земле по-прежнему слишком много.

Против ожидания невзрачный минтай получился вкусным, белое вино охладилось в самый раз — ну, не праздник, а все-таки удовольствие. Когда разговор от американских санкций перешел к сообщениям о погоде, он переключил канал, попрощавшись с героями предыдущего сюжета:

— Придурки!

На одном из каналов пианист Борис Березовский исполнял сонаты Скрябина. Листов удовлетворенно откинулся на спинку дивана, подумал: вот и лекарство. На память пришло, как недавно старая знакомая, из журналистов, бравшая у него когда-то интервью, напомнила:

— Я тогда спросила у вас: «Как вы относитесь к жизни?» И вы тогда ответили: «Я живу с восторгом!»

Да. Восторг. Музыка. Страсть — пагубная штука, но без нее нет музыки, вообще нет ничего настоящего. Страсть — саморазрушение, которое ведет к самореализации. Остальное вяло, безвкусно. Но сколько по объему жизненного пространства отмерено тебе на эту самую страсть? Сколько можно отмерить? И можно ли вообще? И что это, дар свыше, запредельное состояние, которое не дано исследовать никому, если речь действительно идет о страсти, о глубинном, разрывном чувстве. Но... Затухают страсти, стихает музыка, блекнут краски. Жил — не жил, какое кому дело, да и какая, собственно, разница. Болячки чередуются одна за другой, и порой понять трудно, что болит.

— С ярмарки, брат, с ярмарки! — ввернул словцо Листов-2.

— Я еще могу крикнуть молодым, просто проорать в пространство: любите что есть силы — друг друга, женщин, вино и волю, в конце-то концов! Верьте мне, я знаю вкус всего этого!

— Да кто ж поверит? Твой опыт, дед, за пределами нынешней жизни, а стало быть, никому не пригоден.

Чертовы ноги! Он резко отодвинул стул, вышел на середину комнаты — одно приседание, два, три, десять... Это уж сверх последних сил и возможностей, но он не остановится, завтра сделает одиннадцать, послезавтра двенадцать. Он заставит их ходить, эти ставшие чужими ноги! Остановился, приводя дыхание в порядок, подумал: «Да ведь не в первый раз говорю я себе это. Может, для начала голове необходим радикальный демонтаж?»

Ночью в комнате появилась Надежда. Самое удивительное, Листов краем подсознания понимал, что спит, видит сон, и недоумевал, почему бы ей не предстать перед ним на берегу Голубого озера или на пасеке Ивана Иваныча? Как бы там ни было, она здесь, в его холостяцкой квартире, которая не видела ремонта со дня сдачи в эксплуатацию этого дома. Господи! При чем тут ремонт!?

— Ты? — он не узнал свой голос.

Она молча прошла к окну, прислонилась к подоконнику. На ней была знакомая футболка, джинсы, кроссовки и абсолютно неуместный длинный шарф из воздушного розово-лилового шелка.

— Я пришла сообщить тебе, — начала она с тихой улыбкой, — что это ерунда, будто бы женщины выбирают мужчин. Так принято считать, но в этом большая ошибка. Выбирает мужчина, он сильнее во многих отношениях, он вглядчивее, он основательнее по сути. Беда в том, что при всем том он очень часто ошибается. Это происходит в силу торопливой решительности, которая сопровождает все перечисленные его достоинства.

А исправлять ситуацию приходится женщине, но как бы там ни было, она на вторых ролях.

— Мне необходимо сняться с места, — заговорил Листов безо всякой связи с услышанным, — завтра я лечу в Москву.

«Какую такую Москву? — тут же спросил у самого себя. — С чего бы это?»

— Интересно, что имел в виду Альбер Камю, когда говорил, что разрыв между человеком и его жизнью создает ощущение абсурда?

— То и имел, — раздражаясь, ответил Листов, — вот человек, а вот его жизнь, между ними абсурд.

— Это случай, исключение или правило?

— Это закон.

«Господи! — восстало в нем. — Философские беседы среди ночи. И с кем?» А правда, кто она такая? Кто она ему? И в этот момент его накрыло каким-то странным, кожей осязаемым покрывалом, сотканным из теплого ароматного дыхания, нежного прикосновения, самой нежности. И тут же перед глазами явились озеро, пустынный берег, их разгоряченные тела. И ощущение: он там, на берегу, с ней и одновременно он видит их со стороны.

— Не пойму, ты загадка или та, из кого легко ее придумать, даже если никакой загадки и нет на самом деле. Но я все-таки думаю — есть. Я многое в жизни пропустил, многое успел раньше времени. Вполне вероятно, ты из этого самого, пропущенного. Я, честно, устал испытывать вину и разочарование из-за этого — почему не я, почему я рано родился? Ты не представляешь, как это иногда бывает тяжело! И вовсе я не испытываю комплекса из-за своей несложившейся судьбы. Мне это ни к чему, я сам себе судья и оценщик, давно плюю на мнение других. Хотя иногда, не скрою, задевает глухота и тупость окружающего мира. Главная причина моего неудовлетворения собой — мой возраст. И все труднее бороться за жизнь.

— А не надо бороться, — прервала она его, — вообще ничего не надо делать, поскольку в общей массе абсурда любое движение — абсурд. Разве что ослабить стремяна, отпустить вожжи...

Сон — это кино. Кто режиссер, кто оператор — непонятно, но по их непреклонной воле кадры меняются вдруг, без подготовки. Вот Листов один в своей комнате, придавленный безысходной, дремучей тоской. В руках у него веревка, он узнал старый дедов шнур, на который тот натягивал рыбацкие сети, капроновый, прочный. Подошел к окну, перекинул шнур через карниз. А мысль бьется: он же не выдержит, ты попросту устраиваешь цирк. Но вот он взбирается на подоконник, закрывает форточку — с улицы идет слишком холодный воздух. И просыпается. Свет, оказывается, он не успел выключить, за окном

висело серое небо, а на карнизе — старый, заношенный шарф серо-лилового цвета. Черт знает что, подумал он, сдергивая тряпицу, и буркнул:

— Камю!

С вечера он искал договор на автострахование и вытащил на свет какие-то ненужные бумаги. Пообещал себе сложить их в пакет и снести на помойку. Взял несколько листков, это оказалось частью его дневника, который он когда-то давно вел беспорядочно, от случая к случаю, а потом и совсем забросил. Помнит, начиная его, давал себе слово не уподобляться тем, кто ведет свои хроники, описывая все подряд: встал, почистил зубы... Здесь ни начала, ни конца. Но вот записи последнего года семейной жизни. Их мало, совсем мало. «8 февраля. Моя прелестница-жена увидела сон. Содержание сна значения не имеет. Но что-то про поезд, который уносит ее далеко-далеко. 22 февраля. Вчера был вечер памяти известного поэта Б. Постаревшие люди. Поглупевшая жизнь. Жена, которой я не нужен. Романтическая пора прошла. Теперь нужны терпение и мужество... 1 марта. Что-то происходит с организмом, ощущения гадкие. Видимо, тихий бунт жены — по этому поводу... 19 марта. Не хватает простора, воли. Которая сейчас одета в рамку и загнана в рамки. Однако как декорация сойдет. Иногда уколет чем-то настоящим. Не хочу, чтобы рядом со мной старились другие — дети, моя молодая жена... 1 мая. Мои путешествия по жизни закончились резко и бесповоротно. Как написала одна знакомая в своем стихотворении — “а жизнь забросила домой...” 30 июля (это когда мы собрали последний рубль и отправили меня, потерянного и ушибленного, в Горный Алтай). Глупое знакомство с дамочкой. И красивая, и не очень. И молода, и не совсем. Телефон сел, брат где-то в горах потерялся. Еды нет, только чай и помидорка... Что за промысел! В голове, конечно, крутнулось: адюльтерчик! Но не ухаживать же мне за ней. Давно прошло то время. И я люблю ту, которая умерла... Хватит жизнь раздавать по частям — этому, тому... Кто-то является за солонкой, а уносит кусок жизни...» Это практически последняя запись в дневнике. Как-то не до него стало.

Он будто бы подждал Листова у подъезда. «Вещун чертов!» — подумал тот, глядя на дергающуюся лисью физиономию.

— Прогуливаться вышли, вижу, вижу. Это правильно, это для здоровья большая польза. А я вам вот приготовил.

Он достал из кармана скомканный серый носовой платочек, старательно высморкался. И продолжил.

— А что, Петрович все же умер?

— Видимо, да, раз хоронят.

— А от чего?

— Да вон на венках написано: «от жены», «от детей», «от друзей».

Листов хотел запустить в него мешком с мусором, который собрался нести на помойку, но сдержался и, промолчав, пошел к мусорным бакам. Не дойдя до них нескольких десятков метров, он увидел сверкающее лакированными темно-коричневыми боками пианино. Чего только на нынешних помойках не приходилось ему обнаруживать — от свадебных нарядов до мебельных гарнитуров, — но чтобы почти новый музыкальный инструмент — такое трудно придумать. Крышка пианино была откинута и на ней золотом выведено название — «Чайка». Тюменская музыкальная фабрика, отозвалось в памяти, инструмент, по классу не отличающийся от изделий знаменитого столичного «Красного Октября». Клавиатура ровная, чистая, будто только что с инструмента стерли пыль. Полированная поверхность корпуса сверкала первозданной чистотой, и Листов внес поправку в свое наблюдение: пианино не почти новое — к нему вообще вряд ли когда прикасались. Купили и выкинули! Подошла пара, судя по всему, муж и жена, обоим лет по тридцать пять — сорок. Она приблизилась к инструменту, тронула клавиатуру, пробежалась по ней уверенными пальцами. Ни одна клавиша не запала, не сфальшивила. Женщина повернулась к мужу, протянула ему сумочку, висящую на длинном ремешке через плечо, и заиграла. Листов сразу узнал «Вальс цветов» из «Щелкунчика» Чайковского. Пробежав несколько музыкальных фраз, она резко остановилась, посмотрела на свои руки, на клавиатуру,

взглядом обвела пространство. И было в этом взгляде столько недоумения, непонимания, обиды, оскорбленного достоинства, что он почувствовал себя соучастником чего-то нечистого, чего-то сотворенного вопреки здравому смыслу и самой природе человеческой. Пара ушла, а он все стоял и стоял, будто прикованный к этому месту, будто поставленный сюда охранять красоту и саму музыку. Он и вправду почувствовал необходимость и даже потребность быть здесь охранником, ведь час-другой — и появятся лихие ребята и раскурочат всю эту красоту, чтобы изъять из нее тяжелую чугунную раму и сдать ее как вторичное сырье. Вот уже мимо прошептал несгибаемый бывший военный, пожилая пара из соседнего подъезда, а он все не мог сдвинуться с места. И тут — показалось ему или нет — вдали за домами мелькнула фигура смертного вещуна-пересмешника. Неспроста он все время маячит перед глазами со своими потугами рассмешить там, где вовсе не смешно. Посмотреть сюда, на этот вечный сигнал и спутник человеческого бытия. Здесь умирает все отринутое человеком и вовсе не обязательно мертвое, скорее наоборот, то, что призвано пережить его — картины, книги, музыка.

Он вздрогнул от чьего-то прикосновения и, очнувшись, увидел перед собой знакомую пару, очевидно, возвращающуюся с прогулки. Они всегда гуляют в это время ровно час, стало быть, Листов столько времени простоял здесь и не заметил, как это время пролетело.

— Вы так глубоко задумались, — заговорил обладатель шкиперской бородки и перевел взгляд на сверкающее в солнечных лучах пианино. — М-да, неудивительно... А знаете что, я, помнится, приглашал вас к нам на чашку чая, отчего бы не сейчас?

Листов не готов был к визитам, но быстро придумать причину отказа не получилось. К тому же бодрый старичок крепко взял его за локоть и решительно повлек за собой. Жена его покорно подалась следом.

Все убранство двухкомнатной квартиры старичков, как и следовало ожидать, являло собой выставку быта пятидесятих-шестидесятих годов. Что-то, к примеру, комод, обеденный круглый стол, венские стулья, прибились к собранию мебели от еще

более ранней эпохи. Скатерти, крахмальные салфетки, подзоры — все это давно ушло из современного жилья.

Хозяин предложил Листову сесть в кресло, жутко неудобное, топкое, отчего подбородок сидящего в нем едва не упирался в колени, сам устроился на стуле.

— Город наш небольшой, — начал он, — люди на виду, я, например, знаю, что вы долгое время работали в нашем университете. А что касается меня, для вас, очевидно, не секрет, что я долгое время служил в нашей областной газете заместителем главного редактора.

Листов промолчал, ему не хотелось разочаровывать хозяина: он знать не знал, кем тот работал и когда.

— Я часто думаю, что же нас тогдашних отличало от сегодняшних, ту прессу от нынешней. А все очень просто. Мы создали, мы не просто сообщали о событиях и фактах, страна создала — и мы вместе с ней. У нас же на всех больших стройках были корреспондентские пункты. А строили много, и новостей — номера не хватало все поместить.

— Чай уже можно подавать? — возникла в дверных занавесках хозяйка, без верхней одежды совсем крохотная.

— Минутку, дорогая, — улыбнулся ей хозяин, — я позову.

Он подошел к книжной полке, достал несколько папок с бумагами, что-то отобрал, отложил в сторону.

— Я, когда ушел на пенсию, долго еще сотрудничал с редакцией, у меня даже была своя колонка. Со временем надобность в моих заметках начала убывать, я просто всем существом своим стал чувствовать, как начала убывать нужда вообще в публичном слове, равно как и в созидательной мысли. Газета стала... даже и не знаю, как охарактеризовать это, — слова и буквы, буквы и слова. Я по инерции писал, складывал в папочку, толком не понимая кому, зачем? Вот, если позволите, к примеру, — он перебрал несколько листков. — Я обратил внимание, как вы сегодня стояли там, возле музыки, которую простите, снесли на помойку. Похожее чувство возникло у меня несколько лет назад, я тогда попытался высказаться. Вот, — он отделил листок серой газетной бумаги, начал читать: — «У нас не стало общих песен... Так есть, и, кажется, процесс разобщения вообще, в том числе

песенного нашего быта объективен, неуправляем, неизбежен. Если сегодняшнее старшее поколение еще можно представить поющим за праздничным столом (возьмем чисто семейные торжества) “Вот кто-то с горочки спустился” или “Каким ты был, таким ты и остался”, то нынешних взрослеющих детей в застолье с родителями никак не объединят даже куда более поздние “Я люблю тебя, жизнь” и — смятение в душе! — “Подмосковные вечера». И в самой разогретой фантазии невозможно представить, что родители подпоют детям что-нибудь вроде “Love Me Anyway” или “Come On”. В виде исключения можно еще услышать в глухой провинции грустно исполняемый семейный хор — “Деревенка моя, деревянная, дальняя”. Это про себя — редких оставшихся (скорее всего, ненадолго) молодых и безнадежно застрявших посреди жизни их родителей. Старые песни переходят в фольклорные праздники, и даже лучшим из недавнего прошлого песенным творениям, не превзойденным по сей день (к примеру, на стихи Роберта Рождественского), отведены специальные дни и места. А исполнители — специально обученные люди.

Ах да, чуть не забыл, есть ведь доступное нынче для каждого дома благо — караоке, есть кафе с этим аттракционом. Можно подпевать профессионалам в одиночку, можно хором, но вот беда, и тут не соединишь интересы и пристрастия разных поколений. Те же “Подмосковные вечера” никак не хотят соседствовать с “Я твой тазик”.

Для чего я это пишу? Чтобы в очередной раз прослезиться над неотвратимо ушедшим, уходящим? Нет смысла. Как, очевидно, нет смысла и в утверждении: прошлое должно жить бок о бок с настоящим. Нынче изо дня в день убеждаемся — не живет. Погрустили — и ладно, будем думать, что каждый свое спел, поет или споет. Есть же лозунг сомнительного оптимизма: “Новые времена — новые песни!”»

Он отложил листок, посмотрел на гостя виноватым взглядом, будто на нем лежит ответственность за все, о чем он только что поведал. А Листову вдруг стало тошно, вот так тошно, как бывало, если переест чего-то очень жирного. Думал, секунда — и пройдет, нет, тошнота подступила к самому горлу, и он испугался, что сейчас, сию минуту испортит хозяйскую белоснежную скатерть.

— Извините, — с трудом выговорил он и опрометью бросился к входным дверям.

Каким-то чудесным образом мгновенно справился с чужим замком, скатился по лестнице и только на крыльце опомнился. «Что это было?» — спросил сам себя, понимая, что нахлынувшее вдруг состояние никакого отношения не имеет ни к съеденному на завтрак, ни к заметке старого журналиста. Хотя... Он давно стал замечать за собой какое-то агрессивное неприятие этих бесконечных жалоб по поводу ушедшего прошлого. Но не до такой же степени! Постоял и потихоньку двинулся в сторону помойки. Пианино стояло на месте все в том же блеске солнечных лучей. Очевидно, охотники за вторсырьем будут дожидаться темноты.

И вдруг он почувствовал какую-то необыкновенную тесноту. У сердечников бывает: внезапно одежда становится тесной, воздуха не хватает, а с тем и весь мир будто сжимается, сдавливает бренное тело, будто выталкивает из этого лучшего из миров. Он прислушался к себе, сердце работает нормально, дыхание свободное, нет, это теснота другого свойства. В голову пришло сравнение, будто его, большую океаническую рыбину — что-то вроде тунца или марлина, — поместили в комнатный аквариум и приказали: живи здесь. Листов прислонился к гаражному ограждению, прикрыл глаза и увидел аэропорт, ясную, отчетливую картинку: вот заполненный народом зал ожидания, вот очередь к окошкам регистрации, а вот и он, в хвосте этой очереди. Все так, все точно, ему надо как можно быстрее пойти в кассу, взять билет. Куда? Да в Москву хотя бы, то есть, конечно же, в Москву, где столько раз он ставил точку в своей прежней жизни и начинал новую. А до того... Не счесть, как часто в молодости летел он туда, столицей ни разу не ожидаем. Что говорить о нынешнем дне, в последние годы попасть туда он уж вовсе не надеялся. Случалось, по несколько дней задерживался он в столице, но все как-то по разным узким вопросам, которые посещения выставок, спектаклей, концертов и прочих столичных достопримечательностей не предполагали. Маршрут передвижения прост и предельно выверен: метро, присутствие, где больше ждешь, чем работаешь, и обратный путь. Сэкономить время для себя не получается, Москва

съедает его, время то есть, с аппетитом голодного зверя. Истратить хотя бы полдня на развлечения — ни в коем случае, распорядок командировки строго лимитирован. Нет, он не герой, наш герой, преступить заданную руководством программу он не решился. Пойти в ночной загул... Ой, сколько же обстоятельств препятствовало тому! И перечислять не стоит. Одно, может быть, самое важное, присутствовало всегда безусловно и напоминающий о себе не требовало — занозой в голове засевшая строчка оренбургского поэта Геннадия Хомутова: «Как быстро кончаются деньги в Москве!..» Дальше он не помнит, но точно знает, что за этой строчкой следует целое стихотворение. Рассчитывая бюджет на очередную командировку, прикидывая, какие траты предстоят на неучтенные обстоятельства (обед в Москве всегда дороже, чем полагает бухгалтерия), он точно знает: на вольности денег не останется.

Впрочем, все это на годы уже отошло в прошлое. Тем не менее следует упомянуть еще одно обстоятельство, мешающее ему пренебречь подземкой, пройтись по улицам таким завсегдаемым столицы, таким хозяином собственного времени, таким гордецом против множества таких же провинциалов, снующих по улицам Москвы. Напомним, то было время девяностых — начала двухтысячных. Вся страна — и столица ее не исключение — была заставлена торговыми палатками. Он хорошо помнит, как в самом начале девяностых деловитые и мастеровитые мужики начали клепать, строгать, сооружать, сбиваясь в кооперативы. И как сразу же получили по рукам десятками запретов и ограничений от возлюбленного Отечества. Пилить и строгать враз стало невыгодно, и поплелись мужики вслед за разворотливыми своими подругами мешками таскать китайские да турецкие тряпки. Так вот из-за этих самых палаток, набитых этими самыми тряпками, Москвы не стало видно. Москвы не стало слышно из-за барабанов, дудочек и скрипок, рвущих эфир в переходах и возле станций метро. Помнит он, в одна тысяча девятьсот восьмидесятом году очищенная от шлюх и тунеядцев столица в ожидании олимпиады пахла свежескошенной травой. В девяностые она стала пахнуть перегорелым маслом от беляшных, невымытыми телами бродяг и мочей от углов и тех же переходов...

И слышал он от многих своих знакомых, что сегодня Москва совсем другая. Какая? Вот завтра он сходит в свою поликлинику, сдаст анализы, получит перерыв в расписании постоянных наблюдений — и полетит...

А завтра ему сказали, что анализы никуда не годятся, лекарства, которые он постоянно принимал, перестали действовать, а на вопрос «Что же дальше?» дали бесценный совет: живите! И добавили меду: вы у нас молодец, хорошо держитесь.

Мысль о Москве как-то сразу отлетела в неведомые далека, а ноги привели в бар. Представитель питерской интеллигенции вяло протянул ему изуродованную артритом руку.

— А в Питере уже давно закончился сезон белых ночей, — зачем-то сообщил ему Листов, и в ответ получил цитату из Бабеля: «Папаша, — сказал тогда отцу Левка, — в вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце. Бросьте его, и пусть оно катится в пыли».

Листов внимательно посмотрел на собеседника, что-то в нем было не так, какой-то новый надлом и глубокая печаль во взгляде.

— Что-то случилось? — задал вопрос Листов.

— А что может случиться? Разве что конец истории.

— Какой, позвольте спросить?

— Не важно... Моей, моей истории.

Решив не углубляться, Листов стал с преувеличенным вниманием изучать свой стакан. Молодые люди, один из которых, по его собственному утверждению, все потерял, громко доказывали что-то друг другу. То и дело в разговоре выделялись слова — алия, репатриация.

— Понимаешь, — говорил один, — сейчас самое время бежать из страны, где нет будущего. Узнал, что есть несколько фирм, которые отыщут у тебя еврейские корни, даже если их отродясь не было.

— Видал, — кивнул в их сторону представитель питерской интеллигенции, — у них из прошлого только подгузники да школа с пьяным чертежником, а будущего уже нет. Впрочем, кто бы их учил себя со страной отождествлять. Учили так: страна пусть живет как вырулит, а я, извините, сам по себе.

Листову не хотелось развивать эту тему.

— А почему чертежник-то пьяный? — ухватился он за образ.

— Представляете, я в трех школах учился, и везде преподаватели черчения пьяницы. Раньше я как-то не задумывался над этим чудесным совпадением, потом, уже по окончании школы, пришла мысль: все эти линии, линейки, проекции требуют немалого воображения. А с воображением трудно жить, однажды начинаешь искать какую-нибудь новую плоскость, четвертое измерение. Они, все трое, как тогда, передо мной — в глазах смесь тоски и какого-то нездешнего флера, волосы включены, пиджак в мелу.

— Слушайте, — встрепенулся Листов, — а ведь и у меня в школе был такой же, ну, копия, как вы описали. Даже помню имя его, Владислав Григорьевич. Выпускных экзаменов тогда было много, почти по всем предметам, но вот по черчению так аттестовали, по текущим оценкам. Заводит он меня в пустой класс, чертит на доске гайку в двух проекциях, на одной из плоскостей ставит точку. Задание: найди эту точку в другой проекции. Не нашел. Вот, говорит, потому тебе четверка в аттестат, а собирался поставить пять. И — два коротких взмаха, две прямые — вот она точка. Просто, до слез, помню, обидно было, как просто. Мне эта точка до сих пор является перед глазами, как величайший позор.

— Наверняка у каждого из нас есть своя точка, — мрачно подытожил питерский мечтатель и тут же как-то подобрался весь, сосредоточился. — Пустое. Новая жизнь впереди, только я не от родины побегу, напротив, на самую что ни на есть родину, в город, который заждался меня, который, быть может, не ведая того, для меня и строили.

17.

С некоторых пор Листов начал грезить. Нет, это были не сны, их он видел ночью, в редкие часы забытья. А тут — день-деньской, он ложится с книгой или телевизор включает, и через некоторое время сознание путается и перемещает его в неведомое. При этом звук телевизора никуда не исчезает и сам он отдает себе отчет, что не спит. «Вот бы так ночью засыпать, — думает он, — мгновенно, безо всяких усилий». Сегодня Листов прилег с романом

Маркеса «Сто лет одиночества». В который раз перечитывал он эту книгу, наслаждаясь словесной вязью и каким-то особенным течением мысли. Поначалу немного досаждало, что он плохо различал героев, переходящих из одного поколения в другое, носящих схожие имена. Со временем надобность в усилиях по разгадыванию персон отпала, он просто погружался в эту великую драму беспощадной расправы времени с людьми, строениями и эпохами, чувствуя себя ее участником, по крайней мере, свидетелем. И все встало на свои места, все герои обрели лица и задания. «Задания», — задумался он над словом и тут же погрузился в иной мир. Он на самой большой площади своего города, площади Советов. Скорее всего, будний день, малоллюдно. И вдруг видит, как с внушительного гранитного пьедестала сходит Владимир Ильич Ленин и направляется прямо к нему. Ленин, живой, настоящий, никакой не памятник, берет Листова за руку, и тот сразу же ощущает себя маленьким, в той поре, когда его вот так же брала за руку мама.

— Пойдем, — говорит ему Ленин, — ты же все время должен идти, не забыл?

— А куда? — робко поинтересовался Листов.

— Да куда-нибудь, только не в светлое будущее, ты там уже был.

И они пошли рука в руке по проспекту имени Владимира Ильича, только — странное дело — двигались они по проезжей части, мало того — по встречной полосе движения. Вдруг прямо перед ними возник столб с прикованным к нему человеком. «Полковник Буэндиа! — сразу же узнал его Листов. — Никакого сомнения, он!»

— Привет, дружище! — как ни в чем не бывало обратился к нему Ильич.

— Ступай себе! — полыхнул на него яростным взглядом полковник.

— Я пойду, но вы имейте в виду, что ваше революционное движение имело ложные цели и потому было обречено.

— Все равно неизбежно настанет день, когда великий потоп смоем все, — глядя в небо, молвил полковник.

— Простите, — не выдержал Листов, — это же строчка из другой книги...

«Книга, книга», — вспыхнуло у него в мозгу, и он очнулся. Раскрытая книга лежала у него на груди с замятой страницей как раз на том месте, где описывалось, как полковник Буэндиа закончил свой боевой путь.

Листов включил компьютер, зашел в почту и обнаружил, помимо привычного спама, письмо от некоего автора, обозначившего себя странной фамилией Вотсил. Судя по всему, автор был молодой, начинающий, впрочем, другие к нему и не обращались. При этом тон, стилистика послания были весьма самоуверенными, если не сказать нахальными. Автор не просил прочитать его, поправить, отредактировать, он заявил: мне наплевать, понравится вам мое творение или нет, просто напишите рекомендацию в какое-нибудь издательство, на ваш выбор. Пусть обогатятся за мой счет. Листов написал, что не видит необходимости тратить свое время и портить глаза, ибо вряд ли молодой человек напишет что-нибудь сравнимое с Буниным, Платоновым или хотя бы Казаковым. Ответ прилетел мгновенно: конечно, нет, я пишу намного лучше, гляньте и убедитесь. «Господи! — помянул Создателя Листов. — Никак вы не переведетесь!» А своему корреспонденту ответил: «Нисколько не сомневаюсь, потому и не берусь, мне такой уровень не потянуть». Он уже собрался выйти из почты, досадуя, что эта милая переписка даже не развеселила его, однако, скользнув напоследок взглядом по фамилии, обнаружил, что задом наперед она читается как его собственная — Листов! Интересно, подумал, в чем тут загадка? Ладно бы он был писателем, и кто-то досужий из читателей-почитателей написал на него пародию, памфлет, охальную рецензию, тогда бы выверт с фамилией мог иметь хоть какой-то смысл. А так...

— Идиот! — хлопнул он в раздражении крышкой ноутбука.

Однако сразу, по первому требованию, выбросить из головы чумового автора не получилось. Он сидел в мозгах, ухмыляясь, произнося фамилию Листова то так, то эдак, а то и вовсе выкидывал буквы по одной и повторял: зачем нам эта буква? Выкинем ее из алфавита вовсе, так даже лучше, не правда ли?

И сны, в которых присутствуют литературные герои, и это дурацкое послание — все неспроста. Так думал Листов, понимая, что всякий путь конечен и где-то там, ближе к финалу, человек

оглянется и станет припоминать, а что могло бы быть, да не случилось. Достал старые папки с тесемками, аккуратно завязанными на бантик: заметки, наброски, начала без конца... Однажды твердо сказал себе: нет. Надо было сразу же сжечь все это, чтобы и праха не осталось, но все как-то руки не доходили. Отдельно между папками лежало письмо, отпечатанное на машинке. Письмо из Новгорода от журналиста, который потом ушел в поэты и дворники. Он утверждал, что все дворники поэты, но не все поэты дворники. Давно не виделась, но Листов будто и сейчас слышит его хриловатый насмешливый голос.

«Тезка, брат мой бледнолицый! Уж и не знаю, как обозначить поступь молодящегося старикана, чувствующего себя загнанным конем, коего по-цыгански хитро вывели на ярмарку, предварительно вкатив лошадиную дозу ЛСД. А если на уровень снизить самоиронию и переключиться на серьезный лад, то информирую, что я более или менее жив и относительно здоров, чего и тебе желаю. По-прежнему верой и правдой служу второй, “прилагательной”, профессии чтимого мною весьма Платонова Андрея Платоновича с той разницей, однако, что не мету и не скребу знаменитый дом Герцена. Чуть-чуть еще ухаживаю за женщинами, по сему поводу некогда написал следующее: “Я в поэзии не prima-s. Вот когда наступит климакс, кинусь к Джойсу и Басё, хватит времени на всё”. И если в этом свете рассматривать перспективы, то еще не совсем прошло опьянение (термин Рембо) жизнью.

На днях сдал в производство книженцию лирики. Буде и впрямь выйдет в середине апреля — накачу к празднику Первомай. Для воодушевления! Чтоб и ты, более молодой, стригунком скакал по девственно чистым листам бумаги. Да, брат, наше земное бытование — сплошь цепь реализовавшихся случайностей, заранее не предвиденных, неожиданных, за редким исключением. Надеюсь, Валера Слободчиков, предложивший издаться именно у него, пойдет мне навстречу и пропустит мои мини-новеллы в авторской версии. В конце концов, никто и ни при каких обстоятельствах не разубедит меня в том, что главное в творении — язык и трогательность текста. Иначе читателям пришлось бы мысленно выправлять своеобразие того же Платонова, Розанова или Зощенко и иже с ними. Однако заигрывание

с “железным” стилем чреват падением не в написание, но в сочинение, вымучивание периодов, а то и целиком вещей. Излишнее совершенство, согласишься, подобно эстетике словесного выговаривания. Богомил Райнов, Ахто Леви, Леонид Жуховицкий, ты. Славная компания, если откинуть деление по национальному признаку. При всем моем пиетете перед величием классиков и лучших современников, возделывающих ниву-литературу по гамбургскому счету. Флаг тебе в руки и барабан на грудь!

Пусть чувство гражданина подскажет тебе, что эпистолярный жанр — не хухры-мухры и ему не дано захиреть, покуда не переведутся его приверженцы, в числе коих в своем несвихнувшемся покуда уме держу и тебя. В отличие от Сашки Рябова, которому послал увесистый пакет с цветными репродукциями из журнала “Юность” (копии работ моего приятеля, лет этак двадцать тому осевшего в Нью-Йорке, — Вагрича Бахчаняна). Возможно, Сашка захворал или с головой ушел в писания. А так не хочется терять друзей! И посею сейчас корю себя за то, что далеко не все смог сделать для Бори Капустина, земля ему пухом! Ничто не вечно под луной. А потому пиши, друг мой, в том числе — письма. Мне».

И дата — почти тридцать лет назад...

Первое, о чем подумал он, дочитав письмо до конца: все упомянутые в нем, да и сам автор, уже оставили этот свет. И потом: сожгу! Это никто не должен увидеть. Почему-то вспомнился вдруг питерский друг, художник, утверждавший, что тоска по ушедшему, уходящему — мощный двигатель творческого процесса. Приехав на Алтай, он с наслаждением оживлял на своих полотнах улицы и мосты Питера, по возвращении в Питер погружался в работу над этюдами и набросками, сделанными на Алтае. Путешествовать в прошлое для того, чтобы понять, на каких дорогах порастерялась сила, та сила, которая соединяет тебя с жизнью? Живешь — есть сила, есть сила — живешь. Что касается прошлого, на свет извлекается так немного: нежные воды южных морей, суровые струи Катуня, загадочная гладь Голубого озера.

— Верните мне мою силу! — во весь голос крикнул Листов.

Сделал несколько быстрых шагов по комнате и рухнул — нога подвернулась. «Ходить, ходить, надо больше ходить, тренировать ногу», — твердил он себе. С этой мыслью отправился

в Нагорный парк, куда вела лестница с полутора сотнями ступенек. С трудом одолел, сделав несколько коротких остановок, похвалил себя. Сверху было хорошо видно, как зеленый возмужавший август укутывает старый малоэтажный город и как сиротски тянутся к небу голые высотки. «Все в тебе старое, — усмехнулся Листов, — даже твой город — это патриархальная старина». За спиной у него послышались крики, топотня. Оглянулся — глазам предстало удивительное зрелище. По газонам парка носился лось, самый настоящий, судя по рогам, трехлеток, а толпа, как всякая толпа, пугалась, шарахалась, но далеко не отбегала. Напуганное животное делало угрожающие движения в сторону людского скопления, и тогда любопытные откатывали волной. Примчались люди в какой-то незнакомой ему форме, постреляли в лося шприцами со снотворным, а тому хоть бы что. Полчаса длилось представление, Листов за это время прикинул все возможные маршруты, по которым сохатый мог попасть в Нагорный парк. Выходило, что прибыл он сюда из недалекого леса, отделенного от парка несколькими нитками автодорог и даже трамвайной линией. Что ж привлекло его сюда? Скорее всего, запах из конюшни, разместившейся на краю парка. Там же и полянка для конных прогулок. Другого объяснения Листов не нашел. Тем временем сработало-таки снотворное, животное остановилось, недоуменно поводило головой и рухнуло. Тут его и погрузили на специальную тележку. «Утренние газеты сообщат о происшествии в губернском городе Б.», — усмехнулся Листов и тут же подумал, что ни утренних, ни вечерних газет давно уже не видел. Есть парочка каких-то незначительных изданий, печатающих отчеты о славной деятельности местных властей, — и все.

Листая пожелтевшие листки почты, он наткнулся на переписку со своей старой знакомой, еще с учебы в университете, который она бросила, не доучившись полгода, со словами: идиоты обучают идиотов! Она была талантлива, писала небольшие рассказы, несколько из которых были опубликованы в толстых журналах. Сбросив с себя груз неоконченного высшего, Людмила — так звали студентку-расстригу — пошла работать на завод механических прессов крановщицей. И работала там все время, покуда Листов хоть что-то слышал о ней. После долгих лет

молчания она написала: «Привет, Виктор батькович! Чем занимаешься? Как идут дела? Я все еще работаю, только не на кране, конечно. Я теперь в бомонде. Завканцелярией и зампредседателя профкома. Как Саша Киба?»

«Привет, Люда! Так бы и писала, что Сахарова! Откуда я знаю про Зинченко? Когда написала про кран, только тогда взгляделся в фотку, увеличил. А так я не реагирую на обращения и призывы. Помойка — вся эта компьютерная радость. Но, как видно, иногда бывают приятные встречи. А что за люди на фотках (просмотрел все с интересом) — не знаю. Расскажи. Если не ошибаюсь, там твоя мама. Как я понимаю, у тебя все хорошо. Я работаю все в том же университете, вернее, заканчиваю работать. Хватит. Всего не напишешь за раз, целая жизнь прокатила. Сашу Кибу похоронили уж три года как, это тоже отдельный разговор. Год назад Вадима Явинского похоронили — помнишь такого? Я уж и не знаю, кого из общих знакомых вспомнить? Колпакова? В Москве, на каком-то телеканале, REN TV, по-моему. Стас Поляков в Кемерове, его братья потихоньку спиваются. Кого еще вспомнить? Напомни. А что, существуют еще профкомы? Неужели и прессы вы все еще делаете? Скажи «да», порадуй старика. Да, еще вот Горбунова Славу вспомнил. Он на пенсии, перенес инсульт, с женой разошелся. Пока всё, поехал в командировку, обыденкой. Рад видеть тебя живой и, надеюсь, здоровой».

«Привет, Витя! Профкомы существуют для подписания документов, приказов и пр. У нас очень продвинутый генеральный — с ним интересно работать. Про Явинского знаю, а про Кибу догадывалась: чтобы у Сашки не было компа — быть не может, значит, его самого нет. На фото я, мой муж Юрий, сын Андрей, бывшая сноха (сын развелся), крестница Яна — учится на первом курсе универа, — свекровь. А мама умерла давно. Теперь о прессах. Мы их делаем. Конечно, модифицированные. Торгуем с Южной Америкой, Италией, Францией. Открыли цех лазерной обработки, линию "Ямазаки", построили свою газовую котельную, недавно открыли линию профилирования. Завод в этом году занял третье место по России. У меня все хорошо. Вся семья непьющая, что меня безмерно радует. Ну, машина, дача — все, что положено добропорядочному "совку". И главное — чувства

юмора я не утратила и любопытства к происходящему тоже. Значит, будем жить! Очень рада тебе. Не теряйся!

р. s. Упустила Колпакова. Говоришь, он на ТВ — туда ему и дорога!»

«Витя, у меня барахлил компьютер — получил ли ты мой ответ на твое письмо?»

«Привет! Да, получил, спасибо. Кстати. Начал вспоминать общих знакомых — ну, кто жив еще, кто ушел — и что-то запутался. Время. Годы. Спрашивай, что интересно. А Саша Киба умер как-то по-дурацки. Семья не очень о нем заботилась, все больше он о ней. Просмотрели. Да и жизни он перестал радоваться — тут тоже причина. Мы с ним в последнее время и подрабатывали вместе, и маленько выпивали. Он-то пиво в основном. А потом повздорили. Опять — деньги, семья. Написал очерк, где почти все — Сашина биография».

«Очерк получила, распечатала и удалила из почты. Ну, ошарашил ты меня. Последние 20 лет я скупа на слезы, а тут не вытерпела, прошибло. Весь день ходила очумевшая. Не в обиду будь сказано — не ожидала. Прекрасно написано, просто нет слов! Вроде изложено скупое, а душу дергает. Почему-то вспомнила Бунина, хотя и не похоже. В тональности повествования есть что-то Бунинское. Хотелось бы еще что-нибудь прочесть. Теперь о почте. Майл ру — это и есть моя электронка. В нее никто не может зайти, не зная пароля и логина, а его знаешь только ты. Все остальное — это неп прочитанные мной комментарии и сообщения. Я их просто удаляю и все».

«Привет! Спасибо за отзыв. А помнишь Ольгу Малахову? Тоже умерла. Давненько уже. А кого еще помнишь? А вот я должник и сволочь перед тобой. Запал мне твой замечательный рассказ, умозрительный, этакий экспрессионистский и нежный. Помнишь ли сама? Назывался он "Вольная воля". Исчез, так и не появившись на всеобщем обозрении. Щедрая и талантливая Сахарова не обращала на такие мелочи внимания. И я решил украсть название, облечь его совсем в другие одежды. Суди и осуждай.

Смотри почту. Предупреждаю, я его нигде не публиковал и публиковать не собираюсь. И вообще, литература — не мое».

«Привет! Рассказ хорош! Только уж очень беспросветный. Это просто мое личное мнение. Хотя бы маленький лучик света в конце тоннеля. Я думаю, любая книга должна давать человеку хотя бы тень надежды, а тут ее нет совсем. Но я лирик, романтик и конченный оптимист. Ты другое дерево. Наверное, это тоже нужно. По поводу названия — успокойся. Я только рада, что оно тебе пригodiлось. Тебе всегда нравились названия моих опусов. Я тебе их дарю для будущих произведений, может пригодятся. "Путник запоздалый", "Драповая пара", "Калиновое ожерелье". Могу еще напридумывать. Витя, ты продолжай писать обязательно. Скоро вся мутная накипь, которую сейчас называют литературой, схлынет, и люди захотят читать настоящие книги. Не бросай это дело.

Хочу поделиться приятной новостью. Мой муж за всю нашу совместную жизнь (а у нас скоро серебряная свадьба) прочел одну книгу "Мастер и Маргарита" под моим нажимом. А тут я пришла с работы — и он мне с круглыми глазами рассказывает, что прочел твои рассказы и не мог найти нужные слова, чтобы сказать, как они ему понравились. При этом волновался, поняла ли я его. Можешь мне поверить, это дорогого стоит».

«Может, нам познакомиться с твоим мужем? Я так давно не знакомился с нормальными мужиками. Вся эта писательская бл...два надоела до опупения. И потом, я эти упражнения, как уже было сказано, давно забросил. Слишком уж творческий народ нынче напоминает убогих на паперти».

«Муж говорит, что был бы очень рад такому знакомству. Только не забудь, что он простой шофер — матерщинник и крамольник. Правда, во-первых, по части мата ему меня не переплюнуть, а во-вторых, у меня есть подруга в Челябинске, большая "шишка" (училась в академии вместе с нашим шефом), так вот, когда она раз в год ко мне приезжает — мат у него куда-то исчезает, чего не скажешь обо мне. Так что милости просим! Мы всю

неделю дома, а в выходные на даче. Конечно, лучше всего поехать к нам на дачу на шашлыки, но это можно сделать только в июле — мы к концу июня закончим там ремонт. А вообще, будем рады тебя видеть в любое время».

«Люда, здравствуй! Вчера видел Стаса Горбунова — он, как узнал про тебя, запрыгал от радости и был так искренен в этой своей радости, что я позавидовал. Он клялся в любви к тебе».

«Привет! Рада, что меня помнят. Я из старых знакомых видела только Наталью П. Она снимала с группой ТВ передачу о нашем шефе. Такая же дура, как была, а гонору — как в барбоске блох. Не пропадай. Люблю тебя».

«Среди дур тебя нет, это точно!»

«Витя, привет! Я пошла в отпуск, почти все время на даче — что-нибудь окучиваю. Если ты не смотрел фильм "Облако-рай", посмотри. Меня пронзило».

«Ты что-то как фантом — заходишь, осматриваешься и молча исчезаешь. Не пропадай. Я сейчас в полном замоте. У меня внезапно попер карьерный рост, я теперь начальник отдела и личный референт директора. Добавь еще сад и домашнее консервирование и получишь полную картину моей занятости. Кстати, с днюхой тебя!!! Будь здоров, весел, счастлив и богат. Желаю сбычи твоих мечт!»

«Спасибо, блатная ты моя! "Днюха"!»

«Привет! Я с первого мая пошла на пенсию. А с первого июня меня вызывают на работу — у шефа нет секретаря. Не судьба мне сидеть с бабками на лавочке. Какое счастье!!! Со Светлым Христовым Воскресением! Будь счастлив!»

...

«У меня умер муж».

И адресат пропал. Листов звонил на завод, ходил по знакомому адресу. Уволилась. Не проживает.

Старушка в неизменной шапочке с буквой Д, с трудом дотягиваясь до веток, обрывает поспевшую черемуху. Она здесь необычная, красная, видимо, скрещенная с вишней или еще с какой ягодой.

— А она точно съедобная? — высказал сомнение Листов.

— На соседке проверила, — хихикнула динамовка, — живая.

А вкусная, попробуйте, — предложила она.

Листов отказался и прошествовал мимо, отсчитывая свои круги по беговой дорожке. Отметил появление желтых косичек на берегах, окружающих стадион, пересчитал котят, повзрослевших, догнавших размерами маму, — все на месте. Цветник не просто зарос, он сгинул под буйно разросшейся травой. «Выходит, вся эта красота нужна была только одному человеку!» — горестно отметил Листов и обвел взглядом двор дома с бесчисленными ячейками-квартирами. И вот он, джинн из банки с пивом, их, этих банок, валялось под ногами множество. Человек-анекдот начал излагать без предисловий.

— Доктор:

— Хорошие новости! Вы снова сможете увидеть вашу жену.

Пациент:

— Но она мертва уже пять лет.

Доктор:

— Вот именно.

— Послушайте! — Листов попытался ухватить его за рукав.

— Спешу, спешу, дела, знаете ли, — ужом вывернулся балагур и скрылся в зарослях черемухи.

У подъезда он встретил соседку. Она мило улыбалась, теребя холщовую сумку, с которой не расставалась так же, как и со своей розовой шапочкой.

— Здравствуйте! Как вы себя чувствуете? — И не дожидаясь ответа: — Я вот заказала несколько связок ключей от своей квартиры, одну отдала Оле из десятой, другую Наталье Сергеевне из двенадцатой, еще — бывшей коллеге, мы с ней регулярно перезваниваемся. Ну, мало ли что, — ответила она на удивленный взгляд Листова. — У нас вон во втором подъезде бабушка

умерла, так через полторы недели спохватились, соседи почувствовали неладное. Представляете, что с ней за это время произошло? Лето, жара...

Он не представлял, то есть совсем даже не хотел представлять.

— Вам, наверно, тоже надо подумать про запасные ключи, — не унималась соседка.

«Господи! — воскликнул про себя Листов. — Да что это за день такой!»

Оставшись на крыльце один, он с тоской глянул на собственные окна, подумал: в мире пандемия и экономический кризис, а у меня болезни и старость. И почему-то ничего не происходит, никаких событий, перемен. Из дня в день, изо дня в день... Наверно, творить жизнь вокруг себя — задача, посильная для другого возраста. А мне теперь — куда? Или начать то, что давно забросил? Писать, просто марать бумагу, именно ручкой, пером, никаких компьютеров! Или писать письма, никому теперь не нужные. Берязеву в Новосибирск, например. Он ответит, в первых строках сообщив, что заготовил столько-то банок варенья и помидор, что в Караканском бору пошли опять и окунь нынче прожорлив и боек... Почему небо сегодня такое мрачное?

Пришел домой, прилег и сразу забылся. И тут же явилась Надежда. Она была одета по-осеннему, сидела напротив него на краешке стула, кутаясь в плащ, словно пряталась от холодного ветра.

— Настроение мне твое совсем не нравится, — молвила слегка севшим — опять же от осеннего холода? — голосом, — как и наплевательское отношение к себе. Я очень чувствительна к настроениям близких мне людей и легко заражаюсь хандрой, поэтому даже не знаю, хочу я сейчас с тобой видеться или нет... Чувствую, что хотела, потому что не сказала тебе чего-то главного, и еще чувствую, что потеряла волну, на которой была с тобой всегда, даже до нашей встречи. Смешно звучит, правда? Уж очень странные чувства я к тебе испытываю. К примеру, когда влюбляются, стараются быть или казаться лучше, и все такое прочее, всякие женские штучки, а для меня в общении с тобой это совсем не важно. Попытки анализировать решила прекратить, пусть думает сердце. Нет, не думает, а чувствует. И твое пусть чувствует и радуется.

Безо всякой связи с происходящим, с тем, о чем она говорила, Листов, глядя куда-то за ее плечо, произнес:

— Сумасшедшие стада, сумасшедшие равнины... Сумасшедшие — потому что ровные. Или равные? Вся эта идиллия, которую воспели дремучие поэты и о которой теперь мечтают затрепанные городом и всеобщей глобализацией идиоты, — сумасшествие. А нормальное — ни то, ни другое, а нечто третье...

И она — будто не слышала его вовсе.

— Не помню у кого, но читала, что человек должен научиться быть один и не бояться одиночества, только так он сможет войти внутрь себя, познать себя, и тогда он вернется оттуда наполненным и обновленным, готовым к любви. Так что роман с собой любимым может и должен стать самым главным романом нашей жизни. Кстати. Как мне кажется, я обладаю определенной гибкостью мышления (может, потому что мне нравится учиться новому) и поэтому мнения свои поменять могу. Хотя это, в принципе, не самое главное, главное все-таки для меня, что человек мне близок и дорог, а это действительно что-то глубинное и необъяснимое, и мне бы очень хотелось хоть чем-то тебя порадовать и отвлечь от всего, что тебя так тяготит. А может, правда, собрать мне всех наших да погулять? Паша тебя ждет, может, чего придумаем на костре пожарить, да и вообще, смена обстановки тебе совсем не помешает. Что ты думаешь об этом, друг, товарищ и брат?! Мне было бы интересно просто позадавать тебе вопросы и послушать твои ответы. Да вот как-то распереживалась, что ты решил выпасть из универсального космического процесса или подняться над ним? Так ты мудрец, тебе виднее...

Листов открыл глаза. Первое, что пришло ему в голову: кто такой Паша и кто это «все наши»? Вопросы остановил звонок в дверь. На пороге стояла она — вышедшая из видения или продолжающая его? Листов невольно встряхнул головой, чтобы отогнать морок — не получилось. Это действительно была Надежда, только на ней вместо плаща — футболка и джинсы.

— Я тут обнаружила в Интернете, что ты обращался в клининговую компанию за помощью в уборке квартиры. Так вот она я, все сделаю в лучшем виде.

Листов наконец-то опомнился:

— Еще чего не хватало!

— А что, я часто подрабатывала таким способом.

Он отвернулся, закрыл глаза и так, с опущенными веками, сделал несколько шагов вглубь квартиры. «Боже мой! Что происходит!? Зачем!?» — кипели в нем непонимание, страх и радость. Радость? С чего бы, чему тут радоваться?

— Я не хочу, чтобы ты приходила сюда, — стараясь держать твердость в голосе, сказал куда-то в сторону.

— Так и я не хочу. И не хотела, только вот бороться с собой умаялась, достала меня эта борьба.

— Кто такой Паша? — спросил он, чтобы как-то выиграть время.

— Паша? — удивилась она. — Помню, был мужичок на базе в Сосновке, кем-то вроде зрителя значился, его еще звали Лужковым за то, что был лысый и кожаную кепку носил. Молчун такой, шашлыки вам жарил, баню топил. Что это ты вспомнил?

Тем временем Листов лихорадочно соображал, что ему делать, как найти выход из создавшегося положения? Он, она, его квартира — последний редут, за который уже не отступишь, некуда. Просто прогнать, запретить вспоминать дорогу сюда, вычеркнуть, забыть! Нет, не то, не то, не то!

— А я видела тебя во сне, вот, пожалуйста, замечательная возможность общаться на внебытийном уровне. Сон, правда, помню смутно: море, рыбацкая барка и ты в ней. Как ты тут жил все это время? Мне кажется, что прошла целая вечность, и за эту вечность очень многое переменялось... А еще я иногда начинаю тебя бояться. Как будто прикасаюсь к тебе непонятному, какому-то запредельному и демоническому. Какой ты на самом деле? Я задала тебе уже сто один вопрос и не получила ответы ни на один. Да правда, ты ведь их не слышал.

— Странное ощущение долго не покидало меня после нашей встречи. Если уж говорить о полноте-неполноте, то неполноценности этой встречи нет границ. Нечто не обретшее тело, нечто бесформенное и неопределенное. Я себя ощущал незванным гостем на чужом пиру. В чем дело? Справедливости ради надо сказать, что эти ощущения пришли потом, спустя дни и недели. Ведь у тебя похожие ощущения, я знаю. Может, не хватает леса, гор, речки Ворожихи, может, еще чего, но не хватает — определенно.

Мне становится все скучнее жить. Прививка безумия невозможна из-за всяких условностей и глупых препятствий. А без нее нельзя. Что-то со всем этим надо делать. Со временем даже страстные поцелуи кажутся на редкость безвкусными. Почему? Все в этом мире неправда. Как и какие-то косые, развернутые не в ту сторону наши отношения. Да никаких отношений-то и нет, не правда ли?

— А хочешь, веселый длинный поезд завтра вечером увезет меня от тебя, от забот, тревог и переживаний? Постараюсь отключиться от всего, только вряд ли перестану думать о тебе. Береги себя, пожалуйста, хоть немного, иначе начну с тобой ругаться.

Эти последние слова прозвучали как-то по-домашнему, семейному, что ли, это было то, что он ожидал меньше всего.

— Ты сейчас уходи, ладно, мне переварить все это надо, усвоить. Я не знаю, как точно выразить, что меня мучает... Понимаешь ли, все это неожиданно — город и ты. А поезд... Тут тебе самой решать. А я могу только позавидовать, потому что в самых заветных помыслах я, если б речь шла обо мне, так бы и сделал.

— Я уйду, — сказала она так, будто ей предстояла дорога до булочной. — Ты же знаешь о великой иллюзии времени? Так вот, она сводит на нет понятие возраста.

Оставшись один, Листов почувствовал крайней степени опустошенность, будто свалил тяжелый груз, проделал огромную работу и не находит в себе сил, чтобы восстановиться. А в голове один вопрос: что со всем этим делать? И тут же выплывала подсказка: помни, спасение от многого в одиночестве, ты обрел его, может быть, слишком поздно, так не теряй это благо хотя бы сейчас.

— Мне же не предлагают жениться, черт возьми! — выкрикнул он в пустоту.

Походив по комнате и не найдя лучшего способа отвлечься, он решил что-нибудь приготовить. Нечто этакое. Хашламу, подсказала память. Вот — живо откликнулось в нем, — то, что надо, блюдо с воспоминанием. Блюдо это научил его делать Володя, некогда высланный из Москвы за тунеядство. Со временем статью, по которой он был изгнан из столицы, отменили, но он остался в деревне, притулившись ко вдовой однодворке. Часть ее огорода он занял под особый перец, который и сладким не назовешь,

и в то же время жжет умеренно. Впрочем, кому как, непривычному человеку эта умеренность кажется злей злующего. Володя готовил хашламу и другого блюда не признавал. Иногда, редко очень, добавлял в блюдо мясо. Свою столичную привычку к безделью он не оставил, и сельчанам было не понятно, зачем его такого держат в доме. Листов приехал в ту деревню с бригадой калымщиков, чтобы за отпуск подработать на новую мебель. Свояк его калымил на профессиональной основе, возводя по селам коровники, кормоцеха и жилье. Володя объявился в их жилище на второй день, к вечеру.

— Сковорода, плитка есть? — поинтересовался с порога. — Буду кушанье делать, вы такого не пробовали.

Бригада не устояла под его напором, летучие труженики пренебрегли сухим законом, принятым на время работы, отправили младшего в лавку за выпивкой. Гость как-никак да еще со своим угощением. У Володи в сумочке оказалось все, что требовалось для приготовления блюда. Позднее бригадиру рассказали, что он удивительным образом всегда знал, кто приезжает в деревню, к кому, зачем, и шел знакомиться, прихватив свои заготовки, в уверенности, что не прогонят и обязательно нальют.

— Главное, — рассказывал он, пока на сковороде томились помидоры, — украсть на семена нужный перец на рынке. Обязательно украсть, иначе никакого толка не будет. Даже если взойдет, вкуса нужного не даст.

— А по башке? — усомнились калымщики.

— Ну, тут уж все дело в сноровке.

Володя внешностью сильно походил на цыгана, и потому легко можно было поверить, что украсть для него так же привычно, как не работать.

Листов тогда хорошо запомнил последовательность приготовления блюда. Сначала помидоры на предварительно политую подсолнечным маслом сковороду, затем нарезанный крупной соломкой перец. Когда до готовности остается немного — семена укропа и мелко нарезанный чеснок. Напоследок хмели-сунели (Володя упорно произносил — сухели). И наконец — вот оно, главное чудо! — вся томящаяся на жару масса устилается черемуховыми листьями. Аромат — не передать словами! Первая проба

должна быть обязательно такой. Берешь кусочек хлеба, обмакиваешь его в горячую жидкость — ее в сковороде достаточно, — и, немного подержав во рту, проглатываешь. Это для того, чтобы вкусовые рецепторы привыкли к остроте. Володя объяснял и демонстрировал порядок поедания блюда.

— Вот так. А теперь, когда организм привык к остроте, смирился с ней, необходимо принять соточку.

Листов помнит, что после первой пробы он едва смог протолкнуть в себя воздух, какая там соточка! Однако вслед за третьим макишем, смоченным острым томатом, дело пошло.

Позднее, вспоминая Володю, его философские размышления о пользе безделья, о лечебной его значимости, Листов готовил, стараясь соблюдать процесс в точности. Единственная незадача — нигде не мог найти тот самый, выращиваемый Володей перец.

Приспособился: брал обычный болгарский сладкий и добавлял несколько стручков острейшего перца чили. Получалось — не отличить от оригинала, получилось и сегодня. И вот поплыл по дому запах черемухи, смешанный с ароматом пряностей и чеснока, запах давно прошедшего золотого времени молодости и безумств, запах дальних краев и чудных сплетений историй и судеб. Запах дорог.

Все необходимое он закупил у бабушек на бродячем рынке возле супермаркета.

— Креста на вас нет! — высказался по поводу цен.

Черемуховые листья нарвал с того самого дерева, с которого недавно пожилая динамовка обирала ягоды. На дорожке вокруг стадиона никого не было. Листов прежде всего подумал о высоком человеке с палкой и в очках «Директор», его он не видел дольше всех. Так вот уходят, исчезают люди из виду, из памяти. Из жизни? Никогда ему этого не узнать, как множество встречающих Листова на путях-дорогах однажды обнаружат его отсутствие и подумают... Что подумают? Да ничего. Был — не был, какая разница?

Блюдо получилось ароматным, вкусным, но почему-то садиться за трапезу ему не хотелось. Дымящаяся сковорода словно приглашала компанию, а никак ни его одного, она, как живая,

дышала и вздрагивала. И в какой-то момент ему почудилось, будто она прошептала:

— Умник, ты же только и делаешь, что гонишь ее от себя, из мыслей, из снов, из дома вот выгнал. Эх ты, старый трусишка!

19.

Ночью в открытое окно отчетливо доносились голоса из динамика товарно-сортировочного участка железной дороги. Западный ветер, отметил Листов, с ним приходят звуки, зовущие странствовать. Он быстро оделся и отправился на вокзал. Впечатление, будто город летом не засыпает ни на минуту. Ревут мотоциклы, соревнуясь в скорости, летают на мощных автомобилях неугомонные стритрейсеры, по тротуарам прогуливаются парочки, приветливо распахнуты двери ночных баров.

Вот он, прямо на первом пути, во всей своей красе — московский поезд. Только окна в нем темны и двери вагонов закрыты. Похоже, он никуда не собирается отправляться, ждет чего-то. Листов потянул носом воздух и почувствовал до судорог знакомый запах креозота от пропитки шпал и еще непонятно чего, чем пахнут вокзалы во всем мире. Это и есть запах дорог. Москва... Он поедет, он соберется, вот только... Что-то мешает ему сосредоточиться, выделить то, что нужно сделать, что завершить, какое условие выполнить перед тем, как отправиться в путешествие. Он резко обернулся и увидел мелькнувший за стеклом вокзального фасада знакомый плащ. Надежда? Неужели она в самом деле уже осуществляет свое обещание сесть в веселый длинный поезд и укатить куда подальше. Но ведь этот поезд никуда не идет. А может, показалось? Скорее всего.

Остаток ночи он провел, сидя перед открытым окном, за которым покоилась августовская звездная ночь. То и дело прочерчивали черный космос падающие светила, но желания загадать что-либо под их падение не было. То причуды молодости, отметил он про себя. Хотя желания еще есть. Так хотелось бы, к примеру, пожить на берегу Катуня, где-нибудь между Усть-Семой и Чемалом. Маленький домик — и ничего больше. По утрам

выходить к самой кромке воды и смотреть, смотреть на это вечное чудо движения.

В баре обретался всего лишь один посетитель, это был представитель питерской интеллигенции. Он тяжело съехал с высокого стульчика навстречу Листову.

— А в Питере нынче жара, а между прочим, Ильин день, когда, как утверждают бабушки, в речке вода похолодела, давно прошел. — Он протянул руку, и Листов увидел, что опухоль на руках стала еще больше. — Праздники, да, сплошные праздники, церковные, мирские. Да нет их, праздников, вовсе нет, никаких, я в этом уверен. То есть нет по календарю, они — твоя собственность, уникальность и неожиданность. Или они есть, но твои и только твои — или их нет вовсе. Календарь — поводырь для неимущего. И еще. Для умения праздновать надо быть язычником, только там, в области рассеянной идеологии, не ограниченной церковными и прочими канонами, может возникнуть чувство праздника. Вакхические, платонические, оргические, какие угодно радости — все за пределами нравственных ограничений, выработанных обществом для порабощения граждан. Не единый строй, а одиночки, пасущиеся на вольных пажитях.

Он подошел к барменше Лене и взял чистый стаканчик. Налил Листову из бутылки, стоящей перед ним, самый дорогой коньяк, имевшийся здесь.

— Окажите честь, — изысканно поклонился.

Молча выпили, при этом Листов вспомнил, что однажды они условились за здоровье не поднимать стаканы.

— На самом деле все больше хочется воли, — продолжил представитель свою мысль, — грешной, срамной, неистовой, осуждаемой. Вот они идут по улице, с весны расцветшие, красивые и не очень, худощавые, полные — разные, но у всех одно в голове и на сердце — хочется любви. И я люблю их всех, знаю многих, характеры, подходы к ним, и всякий раз они новые, как непрочитанная книга. И вроде нету тайн, а тайна соблазна, прикосновения жива! Что тут скажешь, старый кобель! Но я не хочу переделываться, не хочу винить себя, не хочу томиться искушением стать чище, чуть приблизиться к святости. Только женщина дарит нечто, что приносит настоящий аромат жизни. Кто знает,

может случиться, что и это — подделка, но зато самая живая из подделок — рыбалки, охоты, игры на деньги и с деньгами. Чуть ближе пьянство, но оно опасно тяжелыми последствиями. Иначе я бы выбрал его, поскольку пьянствовать не мешают так, как наслаждаться женщинами. Как обрести гармонию в этом мире, если единственное, что мне близко, дорого и понятно, он осуждает, причем лукавит, врет, пыжится изо всех сил... За гармонию!

Он поднял стакан, прищурившись, разглядел его на просвет, выпил и через небольшую паузу продолжил, удивляя Листова:

— Вот смотрю я на вас — вы как в скафандре. Или в костюме защиты от массового поражения. Когда я служил, в армии были такие, зеленые, противные, в них и без движения-то можно было сдохнуть от жары, а нас заставляли бежать кросс. Вам нравится болеть? Впрочем, кому это может понравиться... Но настоящая боль еще не пришла, не-ет, она еще поджидает нас, поджидает.

Листову показалось — да что там показалось, когда так оно и было, — его собеседник вошел в транс, при этом внешние причины для того отсутствовали, он сам себя заводил.

— Наслаждайтесь, имеете право, вам отпущено, вас будут любить, даже боготворить женщины до самого вашего последнего часа. А случится — одна из них изымет вас из домовины и будет таскать за собой, приговаривая: «Хватит придуриваться! Давай вставай!»

Листов смотрел на него, не отрываясь, и видел что-то за пределами, экстаз, не театральный, нет, болезненный взрыв вслед ушедшему, потерянному, невозвратному.

— Я ведь даже не знаю, как вас зовут, — спросил он, сам не зная зачем.

— А это теперь и не имеет значения, — ответил сникший разом представитель питерской интеллигенции и побрел к выходу, чем-то напоминая обвисшее старое пальто, приготовленное на выброс.

Боли приходили все чаще. Иногда он пил таблетки, иногда терпел — сами пройдут. Проходили, но неизменно возвращались вновь. Ноги слушались все хуже, и он старался ходить все больше. Однажды он вышел к школьному стадиону и увидел

лежащее на газоне тело. Байковое клетчатое одеяло было коротковато и оставляло открытыми ноги в стареньких ботиночках образца пятидесятих годов прошлого столетия. Неподалеку на траве лежала шапочка с буквой «Д». Стоящие рядом несколько человек расступились, пропуская машину скорой помощи, она проехала, задевая тяжелые ветки с ягодами черемухи.

— Вот так, — тронул его за рукав кроха-десантник со скиперской бородкой.

— Да, — подтвердил непонятно что Листов и спросил, чтобы хоть что-то спросить: — Вы сегодня один?

— Жена болеет, дома лежит, — ответил он и заторопился. — Она поправится, обязательно, скоро, совсем скоро.

— Конечно, — отозвался Листов, — передайте от меня поклон и пусть скорее выздоравливает.

Он подумал, что болеть в их возрасте опасно, а с другой стороны, много ли здоровых из тех, кому за восемьдесят?

Не хотелось здесь оставаться. Листов обвел взглядом всю площадку, занятую стадионом, газонами и замкнутую в кольцо беговой дорожки. Вот он, путь без конца и без начала, путь столь же короткий, сколь бесконечный, путь, где выдохнутое тобой облачко дожидается тебя через круг. Больно ударила вдруг мысль, что домик на берегу Катуня в свое время ему ничего не стоило построить. Не построил. Почему? Силы ушли на всякое разное и истаяли до того, как пришло понимание: в жизни не так уж много вещей, которые действительно стоят усилий.

Ветер прошелестел в листьях, и шелест этот был сухим, трескучим — влага ушла из зелени, истратилась на солнце и жару. Ах, лето, лето! Как хочется побольше втиснуть в каждый день тебя уходящего! Как не получается! Где-то за дальними летами восторг, который охватывал его, когда звезды считали у коистра под дешевую песенку «Лето, ах, лето, лето звонкое, будь со мной...»

Дома он включил компьютер, зашел в почту. Сообщение от неизвестного адресата.

«Закрываю глаза и вижу кусты вишни, сплошь усыпанные бордовыми переспевшими ягодами, ветки под их тяжестью прогнулись до самой земли.

Засыпаю и вновь вижу тебя во сне, сон этот повторяется, приходит ко мне с завидным постоянством, только иногда меняются мизансцены и реплики героев. В этот раз все тот же вокзал, но вход в него с другой стороны, в двери кто-то постоянно заходит, а ты стоишь и смотришь в окно, а потом поворачиваешься ко мне и говоришь: «Нам с тобой нужно сходить в храм...» Я, не скрывая удивления, отвечаю, что тогда мы рискуем опоздать на поезд.

Я не слышу твой ответ, просыпаюсь.

Я всегда восхищалась тобой, удивлялась, восторгалась, иногда пугалась исходящей от тебя силы, которую как-то определить или охарактеризовать я не могла. Просто такого больше в природе нет, или я не встречала, такой вот феномен, столько всего соединил в себе один человек, гениального и аномально-го, возвышенного и грешного. А еще ты для меня всегда ассоциируешься с дорогой, ты должен быть всегда в пути, в тебе словно живет душа дороги, между вами существует тайная связь, она дает тебе силы, а ты оживляешь ее своими словами, шагами, прикосновениями... Ты и сам — путь, который пересекают сотни дорог, больших и маленьких, широких, как автострада и почти незаметных тропинок, путь, запомнивший и вобравший в себя тысячи лиц, судеб, эпох. А еще ты путник, познавший тайны добра и зла, жизни и смерти, странник, открывший страну, где прошлое, настоящее и будущее говорят с тобой, слушают тебя. Помогают тебе».

Листов долго сидел, пусто глядя на экран. Может быть, целый час прошел, экран давно потух. Но вот он вскинулся, нажал на клавишу и навел стрелку поисковика на окно «ответить».

«Девочка! Ты красиво сочинила, очень красиво. Но... Ты придумала себе героя. Все девочки хотя бы однажды сочиняют для себя сказку, где обязательно присутствует такой вот персонаж, бесстрашный, умный, талантливый, добродетельный. Жизнь подправляет всех героев — и реальных, и придуманных».

Отправил свой ответ и поморщился: отписался, колода бездушная!

Теперь, превозмогая немощь в ногах, он каждую ночь ходит на вокзал. Вагоны с указателями «До Москвы» больше ни разу не попадались ему на глаза, чаще всего на путях, приближенных к вокзалу, вообще никаких поездов не было. Между делом Листов изучил расписание, по нему выходило, что московский экспресс отправляется задолго до его прихода сюда. Очевидно, его постоянное появление на вокзале без багажа, без близких отправок поездов вызвали беспокойство службы безопасности и однажды у него попросили документы.

— По какой надобности вы здесь? Где ваш билет?

— Я одновременно провожаю и встречаю.

Охранники переглянулись в недоумении.

— Встречать сейчас некого, первый поезд приходит через пять часов.

— Провожая себя, встречаю старость, разве это запрещено?

Один другому что-то пошептал на ухо, и они пошли, оглядываясь. Листов посмотрел на себя со стороны. Ветровка защитного цвета, бейсболка, тросточка — вроде на злодея не похож.

Не давали покоя слова представителя питерской интеллигенции о женщинах и их нескончаемой любви к Листову. Да, были женщины в его жизни, и немало, случалось, он бросал, бывало — его, причем именно в такой последовательности. И с женами — последняя ушла от него. Это произошло не так уж давно, а потом подступили болезни. И женщины оказались за пределами его видимости. Разве что изредка позвонит кто-нибудь из старых знакомых, напомнит о себе, подчеркнув: я по-прежнему одна.

Возле продовольственного магазина, куда он старался заходить лишь в силу крайней необходимости, его окликнула знакомая библиотекаря.

— Что ж, — говорит, — вы напророчили Иванову блестящее будущее, а он взял да и помер.

Это правда, талантливый саксофонист Игорь Иванов, о котором писал Листов в известном толстом журнале, умер, не дожив до пятидесяти. Говорят, в последнее время пил много, проклиная

невостребованность. А еще рассказывают, будто последняя его сожительница, узнав о смерти Игоря, примчалась к нему домой, схватила саксофон и убежала. Саксофон был дорогой, такие в мире делают поштучно для особо одаренных музыкантов. А больше в доме ничего и не было. Листов вспомнил: когда проходили джазовые фестивали в последние годы жизни Иванова, золотого саксофониста на них уже не было. А нынешние концерты местных звезд — два-три музыканта времен юности Листова, сильно постаревшие, потрепанные.

— Скорбный список моих знакомых необъятен, — произнес он в спину удаляющейся библиотечарши.

Школьный двор пуст. Лишь котята, среди которых, как он недавно отметил, уже не выделить их мать — так выросли! — лениво перекатываются с боку на бок, запасаясь теплом. Листов ходил по кругу целый час, и никто за это время не появился.

Дома он собрал на скорую руку дорожную сумку и отправился на вокзал. Решение пришло неожиданно, просто торкнуло что-то, когда перебирал в памяти своих родных. Дед его, убегающий из Украины от голода в тридцать третьем, вышел из вагона на полустанке в западной части области, где живет сейчас Листов, и первое, что увидел, — пирожки, ими торговали с небольших лотков женщины, повязанные шальями. Настоящие пирожки с картошкой и капустой — небывалое чудо. Дед не стал возвращаться в вагон, так и осел в этом благословенном краю. Листов помнил название станции, узнал по телефону номер поезда и время отправления.

Поезд оказался чересчур неторопливым, впрочем, Листову торопиться некуда. Попробовал выстроить программу своей поездки — ничего не получилось. По наведенным справкам — обычный поселок, даже не райцентр, разве что со своей железнодорожной станцией. Адреса, где проживал дед, не сохранилось, да он и недолго совсем прожил в том степном поселке, захотелось поближе к реке, к лесу — непоседа.

Большинство железных дорог в России тянутся с запада на восток или с востока на запад, кому куда. Листов в общей сложности на несколько раз преодолел пространство от Бреста до Забайкальска и в каждой поездке отмечал необыкновенную

схожесть отечественного пейзажа. Поля, леса, перелески, снова поля, деревни побогаче, победней, совсем забытые человеком и снова поля, леса, озера...

Триста с небольшим километров поезд преодолел за десять часов. Листов сошел на землю, оглянулся на зеленый состав.

— Ну и архаика!

Тетушек с пирожками он не увидел, зато на перроне была лавка с напитками, булочками, сырками и даже с горячим чаем.

— Вам с сахаром?

— С сахаром.

Никакого плана посещения прародины так у него и не появилось, и он просто пошел по улице, показавшейся ему шире, основательнее других. Поселок появился еще в конце девятнадцатого столетия, но вырос и окреп в начале двадцатого с приездом сюда столыпинских переселенцев. Но, похоже, где-то в конце того же столетия судьба многих и многих деревень России не миновала и эту. В улице пустоты заброшенных огородов, тут и там покосившиеся домишки, не то брошенные, не то вот-вот готовые осиротеть. Листов подумал: если б не станция, наверно, и эта деревня давно бы исчезла. Издалека заметив линиялый триколор, он решил, что движется к центру. И правда, через несколько минут он вышел на небольшую площадь, окруженную несколькими домами, судя по всему, административного назначения. Дом с триколором на коньке никак не был обозначен. Сельсовет? Власть, стало быть. Вход под замком. На бревенчатой избе в четыре окна значилось: клуб. На двери тоже замок. ФАП, фельдшерско-акушерский пункт, из крыльца пророс мощный куст лебеды. Магазин. И магазин на запоре. День-деньской, а тут жизнь остановилась. Из боковой улочки вышла женщина с пустым подойником. Вот и примета, — подумал Листов.

— Вы не слышали таких — Прядко? — спросил, назвав фамилию деда по материнской линии.

— Прядко? — переспросила женщина. — Не, однако, у нас в деревне таких нема.

Листов усмехнулся, отметив это «нема». Стало быть, не один его дед приехал сюда из Украины. Нема! И вдруг его будто холодной водой окатило. Что он здесь? Зачем он здесь, на этом людском

пустыре? Пирожки? Какие такие пирожки, фетиш! Очередной сигнал из никому не нужного прошлого. Он резко повернулся и зашагал в обратную сторону. Поезд, на котором он приехал сюда, называют кругосветным, через станцию он возвращается и идет обратным ходом. Все это Листов узнал от разговорчивой проводницы. Несколько часов на вокзале — это ерунда, тем более что гостиницы в этой деревне, конечно, нет, не оставаться же на ночь под открытым небом.

Он устроился в кресле подальше от входа и задремал. И явилась в его забытии Надежда.

— Знаешь, иногда мне кажется: то, что сейчас происходит с нами, уже было. Не здесь, где то в другом месте, но было. Что это? Память прошлых жизней? А еще мне кажется, что я повзрослела уже давно, еще задолго до тебя. Возможно, тебе смешно это слышать, но иногда я чувствую себя даже слишком взрослой. Взрослее, чем нужно. Почему-то я не могу со всем этим своим опытом пробиться к тебе. Ты слишком увлечен походами в прошлое в поисках там единственно верных ответов. А они почти всегда будут неверны. Предлагаю попробовать обойти прошлое, которое плевать на нас хотело. А ты подумай о том, что оно попросту умерло, вот чего уж нет во все, так это его, прошлого!

— Однажды, — проговорил Листов, — было это лет этак... ну, много назад, одна знакомая на день Победы пожелала мне быть победителем. А кого побеждать-то? Настоящих врагов нет, кругом одни засранцы! Прошли годы, и я понял, что бороться-то предстоит с самим собой.

— Ты можешь истратить в этой борьбе последние силы, лучше потратить их на другое. Увы, вокруг творятся придуманные миры, а в жизни мы приблизиться друг к другу боимся — слишком это опасно для тебя. И все равно я скачаю по тебе. И люблю тебя, и хочу к тебе...

Дома он сел, поставив стул на середину комнаты, задумался. Еще одна неудачная попытка изменить этот неподвижный мир вокруг себя, убежать от своей собственной неподвижности. Всего лишь и смог — отбежать ненадолго. Мысли гуляют между Горным Алтаем и Москвой, а оттуда перетекают в Сан-

Франциско, где его давняя любовь спряталась от него, сбежала, не желая, как она сказала, нищенствовать. Недавно сообщила: и вот я снова одна, приезжай. Ну да, теперь уже неважно, нищий ты или состоятелен. Каждый год жизни — да что там год, месяц, неделя! — сами по себе несметное богатство. Как ни бессмыслен, ни бесцелен этот вечный бег, ему он необходим. Вот сейчас ноги не ходят, сердце едва тянет, дыхание затруднено — и мозги не омываются свежей кровью.

— Без бессмысленного не обрешь смысла, — скалабурил он.

Листов не представлял себе, сколько он таким образом просидел. Судя по свету за окном, вечерело. Он отправился в бар, одно из последних своих пристанищ, где случайно сходятся милые люди, каждый со своей «телегой жизни». Токарь-универсал всегда в белоснежной сорочке и отутюженном костюме, профессор, измятый, пожеванный, похожий на беспризорника. Дворник Афанасич, который, напившись, поколачивает своего зятя, чтобы тот, не дай Бог, не бросил его дочь. Это не имеет значения, что никто никого бросать не собирался, в назидание, так сказать. Молодые люди. Им необходимо заглянуть в собственное будущее, но это же не в реку войти — сначала пальчиком попробуешь, холодна ли водичка. Тут попробовать не дают. Листов мог встать перед ними, сказать: вот оно, ваше будущее. Но он этого ни за что не сделает, поскольку сам до сих пор окончательно не понял, хорошо это или нет — его явление через пятьдесят лет перед тем, двадцатилетним. Две жизни не бывает, а одна — какая есть, какая случилась. А еще там поджидает его замечательный романтик, философ и мечтатель, твердо знающий свою цель — уехать в родной Петербург, который, кстати, никогда родным ему не был. Однако он об этом будто бы и не знает.

Барменша Лена, едва завидев его, выбежала из-за стойки.

— А вы знаете, дядя Витя, ваш друг умер! Ну, тот, который все про Питер любил рассказывать.

Листов понял все без пояснений. Да, болел, но чтобы вот так, неожиданно...

— У него все суставы — колени, локти, пальцы — были гноем переполнены, какая-то болезнь ужасная, — не умолкала Лена. — Мне офицеры из их училища рассказали, зашли сюда помянуть.

Листов стоял посреди бара в оцепенении. У него появилось ощущение, будто ушел из жизни кто-то из последних — последний романтик, последний друг, последний представитель питерской интеллигенции, не шутейный, а действительно, последний.

— Вы что пить будете? — тронула его за рукав Лена.

— Я? — опомнился Листов. — Ничего. Он уже сделал шаг к двери, но остановился. — Бутылку коньяка. С собой. Того, который он обычно пил.

— Так он же чаще всего вино пил, портвейн.

— Я не говорю, что чаще, что реже, — оборвал ее Листов. — Коньяк, самый дорогой.

Когда он шел в бар, думал, что вот пришел тихий, ласковый август, хочется гнать от себя мысли о прощании с летом, а длить и длить эти дни, каждое их мгновение, по возможности растягивая удовольствие, наслаждаясь неповторимым лакомством. У августа, как ни у какого другого месяца, яркий вкус и аромат, неспроста это время спелых плодов, время всеобщего созревания. И вот он переступил порог заведения, которое еще несколько минут назад объявил для себя едва ли не последним пристанищем... Нет отныне сюда дороги, да простят его Афанасич, студенты, токарь с профессором.

Дома он откупорил бутылку, поставил перед собой две рюмки, посидел, ничего не делая. Потом достал чистый лист бумаги и начал медленно выводить на нем: домик, извилистая лента речки, деревья, солнышко в левом верхнем углу. Известный сюжет всех без исключения — художников, не художников — в возрасте четырех-пяти лет. Так и вышло в итоге — рисовать он никогда не умел, даже в школе по этому предмету ему едва натягивали тройку — рисунок при навыках пятилетнего Листова.

21.

Он не мог вспомнить, когда пришла и закрепилась мысль повторить поездку к Голубому озеру. Или в тот вечер, когда он справлял тризну по ушедшему представителю питерской интеллигенции, или в один из дней, потраченных на обход памятных

мест города, с которыми так или иначе связана его жизнь. В это короткое путешествие он отправился наутро после печального вечера. Знакомые кафе, летние веранды, фонтаны, памятники, скверы и дома улыбались ему: одни с грустью, другие с радостью. Что ты? Как ты? Видим — живой! Ах, годы, годы!

На этот раз он решительно отбросил в сторону опасения — доедет, нет, хватит ли сил на дальнюю дорогу? Просто сел в машину и поехал. Была мысль положить в кармашек рубашки листок с названием лекарств, которые собраны в сумочке на переднем сидении, лекарств скорой помощи. Но и от этой мысли он отказался. Будь как будет.

Подступившая осень оставила совсем мало места для зелени, по обеим сторонам дороги до горизонта простирались поля: желтые (пшеница, овес, ячмень), черные (вспашка под озимые или пары). Тополя в лесополосах поблекли, иные уже облетели, березы пожелтели. Однако природа сопротивлялась, напитывая воздух и землю летней жарой.

Листов ехал с редкими остановками — размять суставы, попить. Один раз спешился, когда, проезжая большое село, увидел киоск с вывеской «Беляши, пирожки». Купил два пирожка, с капустой и картошкой. На редкость вкусные оказались пирожки, давно таких не ел. Он выехал из дому, едва рассвело, и предполагал добраться до места часов за шесть, самое большое семь. Несколько раз сверял пройденное расстояние и время — все шло по намеченному плану.

Будний день, а на дорогах совсем мало машин, можно ехать спокойно, не пристраиваясь ни за кем, не нажимать на газ, чтобы обогнать тихохода. И мысли под стать — спокойные, тихие, разные мысли, не связанные друг с другом, но все больше о прошлом. И почему это окончательный удел стариков — уходить мыслями в прошлое? Вот интересно, с какого момента настигает человека эта участь — возраст, болезни, избыток опыта, пресыщение всем и вся. Наверно, все вместе взятое. Можно составить график: сегодня я вспоминаю этот самый день сорокалетней давности, завтра следующий и так далее. Но это практически невозможно, нет в голове такого компьютера — возвращать время со снайперской точностью. Был у Листова один знакомый, который всю свою

сознательную жизнь вел дневник. Скрупулезно, изо дня в день, несмотря ни на какие потрясения. Он накопил солидные тома этих записей, и вот ему-то и можно было бы возвращать давно минувшие дни, сверяясь с текстами, не допуская ошибок. И тут встает вопрос о смысле затеи с календарем.

Погрузить себя в пучину романтики, безрассудства, пылкого незнания? Говоря о романтике и возвышенности моральных вопросов, Ницше относит их к самому привлекательному, неверному, то есть лучшему в этой игре цветов и соблазнов — к жизни. Вот оно, неверное! Скука от всего верного, очевидного очерствляет сердца, приземляет души. Неверное! Скорее всего, наполнение жизни этим неверным делает ее богаче, содержательнее.

Как можно меняться в замкнутом, неизменном мире? Вокруг ничего не происходит, и ожидание перемен становится навязчивой идеей, однако никак не приближает новизну. Перемены не будут искать тебя, это твоя задача — искать их. А вот когда жажда поиска иссякла, тут и финал. Силы, здоровье, замыслы — все там, за спиной, вместе с жаждой перемен. И тут в игру вступает вечное. В Горном Алтае засилье туристов — и что? Сел на камешек у самой кромки воды на берегу Катуня — и нет никого у тебя перед глазами. Напротив горы, и там безлюдно. Миру наплевать на засилье народа, и ты часть этого мира. Никто не в силах отобрать вечное.

Он видит себя на берегу Катуня, неподалеку резвится десятилетний сын, раскрашивая себя прибрежной глиной под индейца. И поди растолкуй ему, что вода в Катуня ледяная и он может простудиться... Листов давно не видел своего сына счастливо улыбающимся. Наверно, в тридцать лет трудно ощутить себя счастливым, сидя на валуне у Катуня. Слишком много предстоит сделать, и все наваливается как-то разом. И все для того, чтобы решить бытовые вопросы. И попробуй объясни молодому человеку, что мир давно уже погибает в погоне за решением этих самых бытовых вопросов.

Оставалось около ста километров до места, и вдруг у него резко свело ногу судорогой, да так, что он едва справился с педалями, чтобы затормозить, свернуть на обочину. С трудом выбравшись из машины, он постоял, присел раз, другой, сделал еще несколько

упражнений, которым научил его доктор. Постепенно нога начала отходить.

— Говорил же тебе, — обратился он к себе самому, — остановка через каждые шестьдесят-семьдесят километров, иначе вот, пожалуйста.

Остаток дороги он преодолел без приключений, ему даже показалось, что этот последний щебеночно-грунтовый участок пути по сравнению с прошлым разом стал менее ухабистым, жестким.

И вот, наконец, он у цели. Осень будто бы стороной обошла это заповедное место. Зеленая трава по берегам озера, зеленые ветлы, зеленые пихты на высоких скалах и лишь редкая желтая проседь берез между ними. И озеро все такое же зеленовато-голубое, нисколько не поменяло ни цвета, ни оттенка. Да желто-серые берега бывшего котлована. Чуть в стороне от песчаного входа в воду выступала отвесная скала, а на ней кто-то сделал надпись ученическим почерком, отчего она стала напоминать школьную доску. Листов подошел ближе, написано было все тем же школьным мелом:

Путник смелый, странник вечный,
Ты куда спешишь с рассветом
По дороге бесконечной?
Что ты ищешь в мире этом?
И трудна, и камениста
Опалённая дорога,
И одежда неказиста,
И котомочка убога.
Для чего твои лишенья?
От страданий мало проку,
В чём ты ищешь утешенье
На пути, ведущем к Богу?

— Ннн-да, — отнесся к написанному Листов, — выводил же кто-то, старался. Свое? Вычитанное в книжке? Не цепляет.

Он долго раздумывал, стоит ли искупаться. Жара, конечно, но все-таки сентябрь месяц на дворе, в любом случае

вода остыла. Разулся, подошел к воде, попробовал. Холодная. Точь-в-точь как летом в горной Катунь.

— А ты для чего сюда ехал, — спросил, глядя в небо и решительно начал стаскивать с себя одежду. Торопился, будто кто помешать мог ему в этом безлюдном месте. Забрел в воду до колен, еще шажок, еще. Теперь надо окунуться. Оп! Да вроде ничего, терпеть можно. Несколько энергичных взмахов, сейчас, сейчас тело привыкнет, не впервой. Еще взмах, еще, туда, туда, на глубину. Как далек, оказывается противоположный берег, и от своего он отплыл уже порядочно. И вдруг жгучая судорога сковала больную ногу, сдавила колючими обручами так, что даже в сердце отозвалась болью. Он слышал, что в таких случаях надо лечь на спину, держаться на воде, пытаясь переждать приступ. Перевернулся, лег — не помогло. Наоборот, судорога поползла по всему телу, делая его болезненно-каменным, неподвижным. Держаться наплаву становилось все труднее, нечем было держать себя, руки и ноги постепенно немели. Водная стихия над его лицом начала смыкаться с небесной синевой. И вдруг явление открылось перед ним: на берегу стоит его любимый Маркес и кричит, сложив ладони рупором:

— И даже имени твоего скоро не останется на Земле!

А следом на том же самом месте вырос виноградарь из села Сrostки Николай Фадеенков и выкрикнул:

— Миру так не хватает безумцев!

И все, провал. Какое-то время не было ничего — ни обжигающего холода, ни боли, ни судорог, потом пришло ощущение, будто весь он переполнен водой, вот-вот лопнет. Вода в желудке, в легких, в ушах. И почему-то не открываются глаза. Сделал несколько усилий — не открываются. И слышит он сквозь водную толщу, окутавшую его, заполнившую до предела:

— Ну что ты будешь делать! Ни на минуту нельзя оставить! Хватит придуриваться! Вставай давай!